

ЖЁЛТАЯ ЛАМПА

1

Жёлтый свет лампы, казалось ему, тихо дышал за морозными узорами окна: то мерно приближался к его глазам, то мерно удалялся, вспыхивая синими искорками в льдистых листочках и веточках...

Постояв недолго, он шагнул через сугроб и поднялся на ступеньку приставной лестницы, ведущей к дверце чердака. Теперь он был совсем рядом с окном. Через не тронутую стужей верхнюю часть стекла глазам открылось небольшое пространство комнаты: дальний сумрачный угол, справа – стена, украшенная картиной «Три богатыря», деревянный пол цвета спелой вишни и светлый прямоугольник столешницы, где по праву царила керосиновая лампа... Конечно же, он первым делом ухватил глазами лампу, единственный источник света в этой комнатке, так завороживший его, стоящего на ночной стылой улице, а уже потом он осмотрел жильё.

И вовсе она не была жёлтой, лампа. Приплюснутый зеленоватый шар её корпуса, чёрная головка, увенчанная узорчатым окружением у основания стеклянного колпака... Лампа лила свет ровно и ясно – точь-в-точь такой, как и за его спиной Луна. А мягкий лимонный оттенок придавал свету самодельный абажур – жёлтая облож-

ка старой школьной тетрадки. Тёмное колечко (он некоторое время следил за ним) вокруг раскалённого огнём колпака ничуть не ширилось; оно появляется в ту минуту, когда бумага впервые касается жаркого стекла, потом тлеет немало, чуть дымя, – и замирает. Он даже, казалось, учуял горький запах этого дымка и вдохнул его с глотком морозного воздуха...

23

Дощатая дверь (напротив окна) дрогнула, приоткрылась и, как бы помедлив, распахнулась. Детская фигурка шагнула раз, другой – и подалась влево, в сумрак. Куда это?.. «Ах да, – сообразил он, – на кухню... Попить воды, наверное...» В дверном проёме у дальней стены он увидел другой стол и другую лампу с таким же самодельным (белым) абажуром. На табуретке сидела девочка в голубом платице. Вика!.. Светлое личико, длинная русая коса... Стопка книжек на столе... Что-то пишет в тетради, шевеля губами... Готовит уроки.

Кто и как закрыл дверь, он не заметил, пока неловко, бочком, примаскивался к лестнице.

Посреди комнаты стоял коротко стриженный светлоголовый мальчик и глядел в окно. Увидел?! Он едва не соскочил со своей ступеньки. Ещё мгновение, ещё полмгновения – и он побежал бы не разбирая дороги в заснеженный сад! Но он сдержался, сообразив, что мальчик смотрит не вверх, на чистую полоску окна, а перед

собой – на сказочные извивы ледяных папоротников. Мальчик приподнял полу серой рубашки, вынул из кармана белую резинку-«стёрку» и положил её на стол. И шагнул к окну... Припав лицом к холодному стеклу, дохнул разок, другой, третий... Чуть вздрагивающая макушка, полусогнутые, потрескавшиеся от непогоды пальчики на замороженном окне... Да это же он, он сам!.. Он почувствовал на глазах слёзы... Да разве мог этот тихий светлогорый мальчик увидеть через оттаявший прозрачный кружок ожидавшую его неизвестную, долгую, одну-единственную, непоправимую жизнь!..

Покачнувшись на лестнице, он закрыл лицо руками и ткнулся лбом в холодную ступеньку...

2

Теплоход «Ярослав Мудрый» причалил к берегу, и любители отдыха на воде отправились любоваться старинным Плёмом и достойными примечания окрестностями.

– Мал городок, да славен – и на русской земле, и за её пределами, – рассказывала экскурсовод. – Видите, на какую кручу мы поднимаемся? Далеко отсюда видно? Далеко. И волжский водный путь, и левый берег на десятки километров просматриваются... Вот потому-то и велел великий государь заложить сей град именно здесь, дабы, говоря современным языком, владеть ситуацией, ведь охотников погулять своевольно по Руси или, скажем, торговать без пошлины водилось тогда немало...

Панков отстал от спутников, осматривая домишки на высоких каменных основаниях, уютные крылечки, резные наличники, подзоры, мощённую бульжником дорогу – то круто ведущую вверх, то (на следующей улочке) ниспадающую... Но уже там, на самом верху горы, над городом после любования старинным храмом, посещения музея и знакомства с творениями знаменитого художника, запечатлевшего для мира Плёс на одноимённой картине, он понял, что ему действительно повезло: сколько уже увидено... Углич, Ярославль, Кострома... И сколько ещё впереди городских и природных красот, ведь теплоход дойдёт до самой Астрахани... Панков стоял под сенью сосен и, сняв затемнённые очки, глядел во все глаза на солнечные просторы левого берега, на плавный поблёскивающий изгиб великой Волги, на крыши городка, на сады, на пристань...

– Э-эй! Товарищ! – певуче окликнул его женский голос.

Под одинокой сосной, похлопывая в ладоши и покачивая бёдрами, пританцовывали две женщины.

– Помогите нам, това-а-рищ!

Панков небрежно возложил на голову кепку, надел очки и неторопливо подошёл к нескучным дамам.

– Помогите нам бутылочку открыть, товарищ, – женщины вытянулись чуть ли не по стойке «смирно». Высокая, полненькая щёлкнула замком сумочки и протянула ему плоскую посудину с коньяком. – Вас как зовут? Давайте знакомиться.

– Я – Ира, – маленькая, худенькая протянула ему руку, тряхнув длинной чёлкой.

– Виктор.

– А я... Я – Наташа, – полненькая внимательно, будто припоминая что-то, посмотрела на него. – А... вы – начальник?

– Я?... Почему начальник?

– Ну... вы такой серьёзный, собранный.

– Да я такой с детства! – Панков легко, от души рассмеялся и тут же шутиливо спохватился: – Ваш коньяк, однако, стынет!

27
Два предложенных ему глотка коньяка на царственной высоте могли бы выявить заряд веселья, сблизить с милыми спутницами, но взгляд нечаянно зацепился за неказистый белый домишко на отшибе городка и повернул его мысли в другое пространство – тихое, малолюдное, освещённое закатным солнцем... И он понял, что его дальнейшее водное путешествие вряд ли будет умирительно-ровным, что ночами, а может быть, и дневной порою его будут одолевать приступы воспоминаний.

3

Когда умер отец, девятнадцать лет назад, Панков стал чаще бывать в родительском доме; навещал мать при всякой возможности: то прибавляя к выходным отгулы, то возвращаясь из командировки, то пользуясь праздничными днями... И мать, видел и чувствовал Панков, ободряла его чуткое внимание; припадала, подрагивая, к его груди, радостно вздыхала... А по вечерам, перед сном, всё рассказывала и рассказывала ему о прошлом времени: о своих родителях, о детских забавах, о весёлых и печальных случаях, об извечном крестьянском укладе, почти истаявшем в последние десятилетия, как будто опасалась не успеть передать всё это, памятное ей, ему, наследнику, не желала унести навек с собою, расточить попусту...

А потом, на семь лет и семь зим пережив отца, покинула белый свет и она...

С той поры Панков не бывал ни разу в родной деревне. Что делать одному в опустелом доме? Только ещё непримиримее ощущалось бы чувство полного сиротства в оглушающей ночной тишине да маялась бы в голых углах душа... Даже двоюродных и троюродных братьев и сестёр не осталось вблизи, их устремления и те или иные обстоятельства разлучили кровно близких людей, скорее всего навсегда.

И вышло так, что не придётся ему больше покупать в облепленной гражданами железнодорожной кассе билет до заветной станции, не ждать с радостным нетерпением в тамбуре вагона полной остановки поезда, не поглядывать в окно переполненного земляками автобуса на обласканные солнцем холмистые поля, не гадать, волнуясь, чья там фигура маячит в цветущем саду – матери ли, отца...

Сны, только сны могут провести его незримыми тропами туда, где он жил когда-то в зелёном сверкающем мире, полном волнующих запахов и звуков, в мире, где каждый день происходили большие и малые открытия, где веяло цветущим раем...

4

Деревни Спас уже не было в числе живых. Её долгая судьба кончилась. Последние старики, рассказывал Панкову его бывший одноклассник Смирнов Вася, преподаватель вуза, умерли года три-четыре назад. Кого-то ещё раньше увезли к себе их дети, кого-то – братья и сёстры младшенькие, кого-то – добросердечные племянницы... Ну а жильё какие-то случайные люди спалили – то ли по оплошке, то ли для своей забавы. «Так-то, земля, всё вышло... А-а, нет-нет! Чуть не сорвал тебе: хатёнка деда Акима на отшибе стоит, уцелела. Но деревни-то, – вздохнул снова Смирнов, глядя в освещённое закатом окно, – больше нет. Так-то, Витёк, нет у нас родного угла... Давай, брат, выпьем за память о родине...»

О разговоре с земляком он не стал рассказывать ни жене, ни дочери; судьбы глухих углов их не волновали. А он... он решил, что нужно всё же, хотя бы в последний раз, съездить в Спас и увидеть всё своими глазами.

5

Он шёл по родной улице и не узнавал её.

Печные трубы сиротливо возвышались над остатками горелых брёвен и буйными зарослями крапивы. Крапива царствовала в былых владе-

ниях человека; крапива упивалась своей безраздельной властью, торжествовала; в её духовитых чащобах сновали пчёлы, порхали бабочки, гудели шмели...

Он шёл как во сне: ноги беззвучно ступали по пышному ковру травы-муравы, лицо оведал невесомый ветерок... И тишина, тишина... Заросший холмик с трубой, и ещё холмик, и ещё труба. Не улицы, а кладбище. Кладбище деревни.

Вот он остановился у останков родной хаты, ничем не отличимых от других, соседских. Постоял-постоял и неслышными шагами направился к другому кладбищу – людскому. Благо, оно недалеко – сразу за выгоном.

Здесь, на кладбище, ему стало как-то легче. Он задержался у поросших травой родительских могил, погладил тёплые, обесцвеченные солнцем деревянные кресты. И, молвив дрогнувшими губами простецкое: «Ну, бывайте!», – прошёл по кладбищу дальше, к раскидистой дикой груше; рядом с её корнями покоился его дед и бабушка. Он запомнил их, можно сказать, краем глаза (маленький совсем был), запомнил их улыбки, ласково-огрубелые пальцы... Ну что ж, и это немало для него, для нынешнего.

Рядом с травянистой канавой, разделявшей когда-то мир деревни и мир кладбища (теперь межа эта, пожалуй, и не нужна), была когда-то найденная тропа. По ней ребята топтали в школу, в соседнее село. И вот теперь стоял он, ощущая ногами заросшее углубление былой тропы, у самого начала лощины, уходящей изгибом к невидимой отсюда речной долине. Зелёные склоны лощины по-прежнему украшены там и сям кустами дикого шиповника и орешника, жёлтыми и белыми разливами донника... Выше, у горизонта, видна длинная полоска лесопосадки. А над дальним сизым косогором плывёт в вышине коршун...

Всё так, да не так... Ни человеческого голоса, ни лая собаки, ни петушиного крика...

Есть теперь ли у него родина?

«Есть, – ответил он себе, – пусть безлюдная, пусть немая, но есть».

Эти вековые просторы, этот текучий воздух, эти большие и малые приметы окрестного мира навсегда вошли в его память и душу, и живут, и дышат в нём вне его желаний и воли.

Разве не так?

6

Хату-невеличку деда Акима время считай не тронуло: поблёкла, посерела соломенная крыша

да отвалилась местами со стен белёная глина, обнажив косые полоски дранки... Он хотел взглянуть в помутненное от пыли и паутины оконце, да, постояв у осевшего на землю плетня, передумал.

«Ну что ж, – подытожил Панков, – вот, похоже, и завершилось моё последнее посещение родного угла, и теперь пора возвращаться в мир обыденных дел и привычной жизни». Но оглянувшись на морщинистые шеи печных труб, он вдруг понял, что предстоящая ему обратная дорога – это лишь середина или начало чего-то, чему он ещё не дал названия.

...И ткнулся лбом в холодную ступеньку.

ТАЛАЯ ВОДА

Обогнув край сырого апрельского поля, он спустился по косой тропинке в низинку просторного лога и остановился. Да, судя по названным отцом приметам, отсюда и начинал отец свой привольный путь – «путь детских открытий», как он однажды выразился.

Полая вода натащила из верховья языка песка и глины. И хотя можно было податься в сторону и пройти краешком косогора, он всё же продолжал двигаться по рыжему киселю, наверное, потому, что отец вряд ли упустил такую редкую возможность... Там и сям на склонах лога белел в ложбинках снег; высоко над головой звенели невидимые жаворонки – вестники раздольной весны...

Так он шёл и шёл, бросая взгляды по сторонам, пока не увидел, что лог раздвоился: один рукав предлагал пологий подъём к горизонту, другой же переходил помалу в ветвящийся глубокий овраг. Саша почти не колебался: отец выбрал бы второй путь – во влажные теснины, дышащие маревом.

Отец давным-давно, в семидесятые ещё годы, окончил лётное техническое училище и потом все годы долгой службы в авиации – в Забайкалье, Средней Азии, Германии и Эстонии – занимался обслуживанием военных самолётов или, как он частенько выражался, «здоровьем летающих машин». «Ум мой – инженерный, дошный, – говорил он, посмеиваясь, жене и сыну, – а душа – лёгкая, весенняя! Вот так и живу в двух мирах одновременно, – добавлял он, – при таких разностях в себе не мучаюсь однако... Слеплен, видимо, так». Отец любил и хорошо знал отчий угол – не только окрестности Каменки, но и те, что поодаль; карта чернозёмной области всегда висела в их жильё – будь их семья

на Востоке, на Юге или Западе. Мог почти наугад ткнуть пальцем в карту и что-то рассказать заинтерельное о том или ином городке, о реке или речке...

У отца была малая родина, место, к которому приросла его душа с первых дней жизни. А у него, у Саши?.. Родился в одном пространстве, в школу пошёл в другом, а оканчивал её в третьем... Учёбу же в институте одолевал уже в четвёртом, на Урале. Как говорится, не золотая пора, а сборная солянка, всего понемножку.

Какой же магнит притягивал отца к его деревне Каменке? Каждый год – весной, летом или осенью – он приезжал сюда ровно на неделю, чтобы пройти «путём детских открытий», обнять оставшихся в живых немногих родных людей. С этого отец начинал отпуск.

– Ну и как?.. – спрашивала Сашина мама. – Набегался по своим холмам да перелескам?

– Набегался! – смеялся отец. – Зарядил батарейку на целый год!

Саша миновал остробокий земляной утёс, будто нарочно раскрашенный в продольную полоску (верхняя – чернозём, ниже – серый подзол, ещё ниже – коричневая глина, а ещё, ещё ниже – жёлтая с крупным песком, ну а подножие – светлые пузыри известняка), и повернул налево, туда, куда его вёл сужающийся овраг. За поворотом он едва не наткнулся на заострённое матовое брёвнышко. Ха! Да это он и есть, бивень мамонта, о котором ему рассказывал отец. Саша тут же ухватился за конец бивня и попробовал его немного раскатать... Да куда там! Многометровая земляная толща намертво держала ей принадлежащее. Ведь этот обрыв – срез истории этой земли; тут не то что века слежались – тысячелетия, эры... Да, действительно, было о чём задуматься человеку, его отцу, в прогретой солнечным теплом сумрачной глубине. Если бы не долгая работа водных потоков, то прошёл бы невдалеке прохожий по траве или по снегу и знать не знал бы, не почувствовал бы, что таится там, под ногами... А там – впрессованные в подзолы, глины и пески эры и эры минувшего...

Да, похоже, не одни только радости и восторги наполняли ребяческую душу его будущего отца, он уже тогда, надо думать, начал постигать время, услышал его неумолимый ход и не зря, видимо, приезжал сюда, ходил-бродил, наверняка стоял у этой многослойной, неказистой на вид, нерукотворной стены... Касался рукой ма-

того бивня... Смотрел в небо... А потом брёл дальше, срывая (летом) с зацепившегося на уступчике земляничного кустика спелую ягоду, и клал её в рот... И снова смотрел из оглохшей глубины в небо...

Так поневоле станешь тихим мудрецом.

Нет, неслучайно, вспоминал он, в глазах отца даже в праздничные минуты таилась лёгкая грустинка. Сказано же: «Многие знания умножают печали».

...Овраг стал попросторнее, и синева над головой открылась пошире. Под ногами прибавилось луж – больших и маленьких. Овраг кончался невысоким мокрым обрывом, а за ним – ровень с глазами – тянулся длинный ложок. Уходящий, как говорил отец, к невидимому отсюда возвышенному полю, прозванному в Каменке Стрелецким. Сваленная горкой дернина – след буйства весенних вод, мчавшихся недавно в овраг, – послужила бы сейчас Саше мягкими ступенями, ведущими вверх, в ложок, но он остановился, вслушиваясь в тихое журчание воды...

Из боковой ложбинки, набитой крупитчатым снегом, бежала, серебрясь на свету, талая вода. Её широкий и мелкий ток скользил по выцветшей прошлогодней траве и, сузившись у обрыва, стекал журчащими струйками по двум косицам

безвольных стебельков вниз. Струйки пузырили крохотное озерцо у ног, позванивали, посверкивали...

Саша вспомнил, как отец с удовольствием рассказывал ему, мальчишке ещё, что он с ребятами пил из таких вот самозванных ручейков талую воду, живую сладкую водичку! Нет, поправил себя Саша, отец говорил по-другому: сладкую водичку!

Саша встал над озерцом и наклонился к стройной струйке... Пахнувшая снегом и прошлогодней травой талая вода была и на самом деле сладкой. В шаге от него стоял его отец, и он тоже ловил ртом искрящуюся струйку и блаженно щурился. Отец говаривал, что, когда он, Сашка, вырастет, они обязательно станут друзьями и что у них со временем будет что-то объединяющее, как у всех настоящих друзей, может быть, хорошая светлая тайна...

Как ни старался отец, талая вода обрызгала ему щёку и две-три капли упали с подбородка в озерцо... «Как будто слёзы упали», – подумал Саша. Но какие могут быть слёзы в такой сияющий день?.. Ведь они стоят сейчас вместе под просторным небом, слушают журчание весенней воды и высокие звоны невидимых жаворонков.

Это же счастье... Так ведь?

